

А. И.
КУПРИН

Избранное



Александр Иванович Куприн

Последнее слово

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2524345

Аннотация

«Да, господа судьи, я убил его!

Но напрасно медицинская экспертиза оставила мне лазейку, – я ею не воспользуюсь.

Я убил его в здравом уме и твердой памяти, убил сознательно, убежденно, холодно, без малейшего раскаяния, страха или колебания. Будь в вашей власти воскресить покойного – я бы снова повторил мое преступление...»

Александр Иванович Куприн Последнее слово

Да, господа судьи, я убил его!

Но напрасно медицинская экспертиза оставила мне лазейку, – я ею не воспользуюсь.

Я убил его в здравом уме и твердой памяти, убил сознательно, убежденно, холодно, без малейшего раскаяния, страха или колебания. Будь в вашей власти воскресить покойного – я бы снова повторил мое преступление.

Он преследовал меня всегда и повсюду. Он принимал тысячи человеческих личин и даже не брезговал – бесстыдник! – переодеваться женщиной. Он притворился моим родственником, добрым другом, сослуживцем и хорошим знакомым. Он гримировался во все возрасты, кроме детского (это ему не удавалось и выходило только смешно). Он переполнил собою мою жизнь и отравил ее.

Всего ужаснее было то, что я заранее предвидел все его слова, жесты и поступки.

Встречаясь со мною, он всегда растопыривал руки и восклицал нараспев:

– А-а! Ко-го я вижу! Сколько ле-ет... Ну? Как здоровье?

И тотчас же отвечал сам себе, хотя я его ни о чем не спрашивал:

– Благодарю вас. Ничего себе. Понемножку. А читали в сегодняшнем номере?..

Если он при этом замечал у меня флюс или ячмень, то уж ни за что не пропустит случая заржать:

– Что это вас, батенька, так перекосило? Нехорошо-о-о!

Он наперед знал, негодяй, что мне больно вовсе не от флюса, а от того, что до него еще пятьдесят идиотов предлагали мне тот же самый бессмысленный вопрос. Он жаждал моих душевных терзаний, палач!

Он приходил ко мне именно в те часы, когда я бывал занят по горло спешной работой. Он садился и говорил:

– А-а! Я тебе, кажется, помешал?

И сидел у меня битых два часа со скучной, нудной болтовней о себе и своих детях. Он видел, как я судорожно хватаю себя за волосы и до крови кусаю губы, и наслаждался видом моих унижительных мучений.

Отравив мое рабочее настроение на целый месяц вперед, он вставал, зевая, и произносил:

– Всегда с тобой заболтаешься. А меня дела ждут. На железной дороге он всегда заводил со мною раз-

говор с одного и того же вопроса:

– А позвольте узнать, далеко ли изволите ехать? И затем:

– По делам или так?

– А где изволите служить?

– Женаты?

– Законным? Или так?

О, я хорошо изучил все его повадки. Закрыв глаза, я вижу его, как живого. Вот он хлопает меня по плечу, по спине и по колену, делает широкие жесты перед самым моим носом, от чего я вздрагиваю и морщусь, держит меня за пуговицу сюртука, дышит мне в лицо, брызгается. Вот он часто дрожит ногой под столом, от чего дребезжит ламповый колпак. Вот он барабанит пальцами по спинке моего стула во время длинной паузы в разговоре и тянет значительно: «Н-да-а», и опять барабанит, и опять тянет: «Н-да-а». Вот он стучит костяшками пальцев по столу, отхаживая отыгранные пики и прикрякивая: «А это что? А это? А это?..» Вот в жарком русском споре приводит он свой излюбленный аргумент:

– Э, батенька, ерунду вы порете!

– Почему же ерунду? – спрашиваю я робко.

– Потому что чепуху!

Что я сделал дурного этому человеку, я не знаю. Но он поклялся испортить мое существование и испор-

тил. Благодаря ему я чувствую теперь глубокое отвращение к морю, луне, воздуху, поэзии, живописи и музыке.

– Толстой? – орал он и устно, и письменно, и печатно. – Состояние перевел на жену, а сам... А с Тургеневым-то он как... Сапоги шил... Великий писатель земли русской... Ура!..

– Пушкин? О, вот кто создал язык. Помните у него: «Тиха украинская ночь, прозрачно небо»... А женато его, знаете, того... А в Третьем отделении, вы знаете, что с ним сделали? А помните... тсс... здесь дам нет, помните, как у него эти стишки:

Едем мы на лодочке,
Под лодочкой вода...

– Достоевский?.. Читали, как он однажды пришел ночью к Тургеневу каяться... Гоголь – знаете, какая у него была болезнь?

Я иду на выставку картин и останавливаюсь перед тихим вечерним пейзажем. Но он следил, подлец, за мною по пятам. Он уже торчит сзади меня и говорит с апломбом:

– Очень мило нарисовано... даль... воздух... луна совсем как живая... Помнишь, Нина, у Типяевых приложение к «Ниве»? Есть что-то общее...

Я сижу в опере, слушаю «Кармен». Но он уже тут как тут. Он поместился сзади меня, положил ноги на нижний ободок моего кресла, подпевает очаровательному дуэту последнего действия, и я с ненавистью чувствую каждое движение его тела. И я также слышу, как в антракте он говорит умышленно громко, специально для меня:

– Удивительные пластинки у Задодадовых. Настоящий Шаляпин. Просто и не отличить.

Да! Это он, не кто, как он, изобрел шарманку, граммофон, биоскоп, фотофон, биограф, фонограф, ауксето-фон, патефон, музыкальный ящик монопан, механического тапера, автомобиль, бумажные воротники, олеографию и газету.

От него нет спасения! Иногда я убегал ночью на глухой морской берег, к обрыву, и ложился там в уединении. Но он, как тень, следовал за мною, подкрадывался ко мне и вдруг произносил уверенно и самодовольно:

– Какая чудная ночь, Катенька, не правда ли? А облака? Совсем как на картине. А ведь попробуй художник так нарисовать – ни за что не поверят.

Он убил лучшие минуты моей жизни – минуты любви, милые, сладкие, незабвенные ночи юности. Сколько раз, когда я брел под руку с молчаливым, прелестным, поэтичным созданием вдоль аллеи, усыпан-

ной лунными пятнами, он, приняв неожиданно женский образ, склонял мне голову на плечо и произносил голосом театральной инженю:

– Скажите, вы любите природу? Что до меня – я безумно обожаю природу.

Или:

– Скажите, вы любите мечтать при луне?

Он был многообразен и многоличен, мой истязатель, но всегда оставался одним и тем же. Он принимал вид профессора, доктора, инженера, женщины-врача, адвоката, курсистки, писателя, жены акцизного надзирателя, помещика, чиновника, пассажира, посетителя, гостя, незнакомца, зрителя, читателя, соседа по даче. В ранней молодости я имел глупость думать, что все это были отдельные люди. Но он был один. Горький опыт открыл мне, наконец, его имя. Это – русский интеллигент.

Если он не терзал меня лично, то повсюду он оставлял свои следы, свои визитные карточки. На вершине Бештау и Машука я находил оставленные им апельсиновые корки, коробки из-под сардинок и конфетные бумажки. На камнях Алупки, на верху Ивановской колокольни, на гранитах Иматры, на стенах Бахчисарая, в Лермонтовском гроте – я видел сделанные им надписи:

«Пуся и Кузики, 1903 года, 27 февраля».

«Иванов».

«А. М. Плохохвостов из Сарапула».

«Иванов».

«Печорина».

«Иванов».

«М. Д... П. А. Р... Талочка и Ахмет».

«Иванов».

«Трофим Живопудов. Город Самара».

«Иванов».

«Адель Соловейчик из Минска».

«Иванов».

«С сей возвышенности любовался морским
видом С. Никодим Иванович Безупречный».

«Иванов».

Я читал его стихи и заметки во всех посетительских книгах; и в Пушкинском доме, и в Лермонтовской сакле, и в старинных монастырях. «Были здесь Чикуновы из Пензы. Пили квас и ели осетрину. Желаем того же и вам». «Посетил родное пепелище великою русского поэта, учитель чистописания Воронежской мужской гимназии Пистоль».

«Хвала тебе, Ай-Петри великан,
В одежде царственной из сосен!
Взошел сегодня на твой мощный стан
Штабс-капитан в отставке Просин».

Стоило мне только раскрыть любую русскую книгу,

как я сейчас же натыкался на него. «Сию книгу читал Пафнутенко». «Автор дурак». «Господин автор Не читал Карла Маркса». Или вдруг длинная и безвкусная, как мочалка, полемика карандашом на полях. И, конечно, не кто иной, как он, загибал во всех книгах углы, вырывал страницы и тушил книгой стеариновые свечи.

Господа судьи! Мне тяжело говорить дальше... Этот человек поругал, осмеял и опошлил все, что мне было дорого, нежно и трогательно. Я боролся очень долго с самим собою... Шли года. Нервы мои становились раздражительнее... Я видел, что нам обоим душно на свете. Один из нас должен был уйти.

Я давно уже предчувствовал, что какая-нибудь мелочь, пустой случай толкнет меня на преступление. Так и случилось.

Вы знаете подробности. В вагоне было так тесно, что пассажиры сидели на головах друг у друга. А он с женой, с сыном, гимназистом пригготовительного класса, и с кучей вещей занял две скамейки. Он на этот раз оделся в форму министерства народного просвещения. Я подошел и спросил:

– Нет ли у вас свободного места?

Он ответил, как бульдог над костью, не глядя на меня:

– Нет. Тут еще один господин сидит. Вот его вещи.

Он сейчас придет.

Поезд тронулся. Я нарочно остался стоять подле. Проехали верст десять.

Господин не приходил. Я нарочно стоял, молчал и глядел на педагога. Я думал, что в нем не умерла совесть.

Напрасно. Проехали еще верст с пятнадцать. Он достал корзину с провизией и стал закусывать. Потом они пили чай. По поводу сахара произошел семейный скандал.

– Петя! Зачем ты взял потихоньку кусок сахару?

– Честное слово, ей-богу, папаша, не брал. Вот вам ей-богу.

– Не божись и не лги. Я нарочно пересчитал утром. Было восемнадцать кусков, а теперь семнадцать.

– Ей-богу!

– Не божись. стыдно лгать. Я тебе все прощу, но лжи не прощу никогда. Лгут только трусы. Тот, кто солгал, тот может убить, и украсть, и изменить государю и отечеству...

И пошло, и пошло... Я эти речи слышал от него самого еще в моем бедном детстве, когда он был сначала моей гувернанткой, а потом классным наставником, и позднее, когда он писал публицистику в умеренной газете.

Я вмешался:

– Вот вы браните сына за ложь, а сами в его присутствии лжете, что это место занято каким-то господином. Где этот господин? Покажите мне его.

Педагог побагровел и выкатил глаза.

– Прошу не приставать к посторонним пассажирам, когда к вам не обращаются с разговорами. Что это за безобразия, когда каждый будет приставать? Господин кондуктор, заявляю вам. Вот они все время нахально пристаю к незнакомым. Прошу принять меры. Иначе я заявлю в жандармское управление и занесу в жалобную книгу.

Кондуктор пожурил меня отечески и ушел. Но педагог долго не мог уняться...

– Раз вас не трогают, и вы не трогайте. А еще в шляпе и в воротничке, по-видимому, интеллигент... Если бы это себе позволил мужик или мастеровой... А то интеллигент!

Интел-ли-гент! Палач назвал меня палачом! Конечно... Он произнес свой приговор.

Я вынул из кармана пальто револьвер, взвел курок и, целясь педагогу в переносицу, между глаз, сказал спокойно:

– Молись.

Он, побледнев, закричал: – Карррау-у-ул!

Это слово было его последним словом. Я спустил курок.

Я кончил, господа судьи. Повторяю: ни раскаяния, ни жалости нет в моей душе. Но одна ужасная мысль гложет меня и будет глотать до конца моих дней – все равно, проведу я их в тюрьме или в сумасшедшем доме:

«У него остался сын! Что, если он-унаследует целиком отцовскую натуру?»»